

Часть 1

Глава 1. Крематорий

Очнулся я во время пафосной речи женщины в черном муаре. Она сидела за лаковым пианино, воздев подбородок к потолку и обнажив немолодую шею. В затылок ей, словно срываясь со скалы, вцепилась шляпка-таблетка с живой бордовой розой. Поставленный голос взлетал с низов до самых высоких нот за доли секунды. На вдохе она делала паузу и извлекала пальцами в крупных перстнях фрагмент «Аве Марии» из простуженного инструмента.

— Родион Гринвич был кристально честным и неподкупным человеком, настоящим знатоком своего дела, доктором от бога! Он был послан нам ангелами с неба...

Мне стало неудобно. Я вдруг увидел мэтра, принимающего экзамен в театральном вузе. Эта же дама, только отправленная обратной перемоткой на двадцать лет назад, стояла на сцене и читала Ахматову. От натужного трагизма в ее голосе становилось неловко, она будто отрывала слушателям заусенцы: вроде бы больно, но как-то по мелочи, быстрее бы замазать зеленкой и забыть.

— Кхе-кхе. Извините, вы нам не подходите.

Кто бы знал, что месть ее будет ужасной и она применит свои артистические способности в одном из столичных крематориев. Здесь ее талант никто не оспаривал: более снисходительных и покладистых зрителей, готовых разрыдаться на каждом слове, вряд ли собирал самый раскрученный театр. Что ни день, то бенефис. Почившему недавно мэтру, кстати, пришлось-таки проехать через творческую церемонию неудавшейся актрисы в своем дорогом гробу на колесиках. Она узнала его и вновь прочла Ахматову. С еще большим надрывом. В буквальном смысле сгорая в печи от стыда, он понял, что Всевышний на него сердится, раз приготовил напоследок столь изощренное наказание.

Я, видимо, тоже накосячил. Церемониймейстер (так значилась ее должность в трудовой книжке) завывала на форте, озвучивая написанный собственной же рукой текст.

— Так давайте склоним головы над этим великим человеком, давайте пропоем ему песнь вечной признательности и скорби...

Я оглядел зал. Точка моего зрения была несколько иной, чем при жизни, но весьма удобной. Я видел сверху и изнутри одновременно. По всему было понятно, что хоронят шишку. Лакированный гроб красного дерева обрамляли литые бронзовые завитушки, по обе стороны стояли дорогие венки. Цветами, верни их к жизни, можно было покрыть кукурузное поле времен Хрущева. В гробу лежал я, густо обработанный гримером, с румяными щеками и алыми губами, коими никогда не обладал при

жизни. Возле толпилась сотня людей, мои взрослые дети, мои коллеги и кто-то, чьи имена я даже не вспомню — последний раз видел эти лица пару десятилетий назад. Рядом с гробом стоял Илюша, измученный, простуженный, с синими кругами под глазами, с трудом переживающий весь этот маскарад.

— Ваш брат очень грузный, уже начал портиться, поэтому был необходим густой грим, — объяснили ему в кассе крематория, когда он пытался осознать выставленную сумму.

«Лучше я засохну перед смертью, чем буду лежать таким Арлекино», — думал Илюша, глядя на меня усопшего.

— Уверю тебя, абсолютно пофиг, никакого чувства неловкости или стыда, — ответил я, — так что не изводи себя очередной ерундой.

Он испуганно вздрогнул, пошатнулся, словно оступился на канате, оглянулся по сторонам. Моя жена, державшая его за руку, вопросительно подняла брови.

— Я с-схожу с ума, — простонал он. — Я слышу Р-родькин г-голос.

— Ты просто смертельно устал, — прошептала она и крепче сжала Илюшину кисть.

Свободной ладонью Илья нервно теребил в кармане два моих перстня. Я носил их с юности, массивные золотые печатки, которые ритуальные парни зачем-то срезали с пальцев и передали брату. Кольца тяготили Илюшу, он раздражался, понимая, что совесть никогда не позволит сдать их на лом, а хранить как память о моих ударах кулаком в его

носовой хрящ было не слишком приятно. Положить в гроб вместе со мной он тоже боялся, наслышанный баек о проворности работников крематория. Церемониймейстер закончила свой творческий утреник и передала слово священнику. Пока тот пел, она подошла к Илюше, взяла под локоток и отвела в сторону:

— Свечи не входят в общий прайс. Нужно дополнительно оплатить тридцать тысяч, — шепнула она ему на ушко.

— Вы оп-полоумели? — взвился Илюша. — За свечи т-тридцатку?

— Ну да, сто человек, триста рублей свеча, — отчеканила она, покачивая розой на шляпке.

— Да охренели, — сказал я, — они их оптом по пятьдесят копеек берут. Торгуйся, максимум пять косарей.

Илюшу вновь бросило в пот. Глаз его задергался, он оглянулся, сделал нервное движение верхней губой и попытался сглотнуть слюну. Рот высох. Я понял, что он не готов к такому общению со мной, и решил больше не пугать брата.

— Пять т-тысяч — край, — прохрипел он цепкой даме пересохшими связками.

— Ну хорошо, только для вас, — она придвинулась к нему бедром и оттопырила большой атласный карман на гипюровой накидке.

Он порылся в бумажнике и опустил туда пятерку. Артистка прижалась еще теснее и красным влажным ртом коснулась его уха:

— Мы могли бы пообщаться и в менее печальной обстановке...

Илюша закатил глаза. Это была тяжелая участь. Женщины желали его тела даже на похоронах.

Наконец под токкату Баха мой гроб закрыли и начали опускать в адову бездну. Скорбящие выдохнули и встали в очередь на выход.

Актриса вновь притерлась к Илюшиному боку и прошептала:

— Урну забирать через неделю.

— К-как через н-неделю? — ужаснулся Илюша. — Г-говорили же, хоть з-завтра! Я оп-платил услуги класса п-премиум!

— Так очередь как раз из тех, кто выбрал премиум-класс. Остальные ждут еще дольше, — невозмутимо ответила она. — Придется полежать четыре-пять дней в холодильнике. Или двадцать пять тысяч.

Тут уже я взорвался и, забыв о своем обещании, заорал:

— Илюха, стоп! Меня вообще не парит полежать в холодильнике! Прекрати сорить деньгами!

— Да Р-родька, отвали! Ты м-можешь хоть после смерти не к-командовать, — огрызнулся брат и тут же закрыл себе рот руками, ловя испуганные взгляды родственников со всех сторон.

— Да, утрата творит с людьми еще и не такое. Уж я-то знаю, — скорбно произнесла церемоний-мейстер.

Илюша вновь достал бумажник и положил в бездонный карман ритуальной затейницы пять красных купюр. У нее тут же, словно из воздуха, всплыла в руках рация, и красный рот отчеканил: «Сейчас же в печь!»

Я застонал. Илюша обхватил виски, пытаюсь остановить жгучую головную боль, и прибавил шаг. Гроб мой с помощью дорогого механизма как по маслу спустился на нижний этаж. Двое симпатичных мускулистых парней перетащили его на каталку, и один из них, помоложе, покотил по длинным тусклым коридорам, временами разгоняясь и вскакивая ногами на поперечную перекладину, как я в детстве — на заднюю сцепку трамвая. В каком-то промежуточном загоне с гроба сорвали все бронзовые завитушки, до блеска натерли их тряпочками и сложили в отдельный пакет. «Продадут следующему клиенту», — беззлобно подумал я. Крышку крепко завинтили шурупами в специальных углублениях, и запечатое тело мое подъехало к новенькой чехословацкой печи с радостным окошком сбоку. С противня согбенная женщина сметала остатки чужого пепла в ведро с огнеупорной номерной табличкой. Мне стало интересно. В мире оставалось еще столько мест, где я, оказывается, ни разу не был. Моя жизнь последние годы распределялась между клиником (ординаторской, операционной), квартирой на Ордынке, подмосковной дачей и островными курортами типа Мальдив или Бали. Ни там, ни там не было ничего подобного. Гроб мой поставили на рельсы, заслонка гостеприимно открылась снизу вверх, и я въехал внутрь длинного металлического бокса, весьма тесного и неудобного. Хорошо, что Илюша не видит, подумалось мне, иначе он отвалил бы еще с десяток купюр за расширение площади и дополнительные удобства. Пока я рассматривал печь изнутри, в камеру подали газ, он вспыхнул,

и пламя агрессивно, с двух сторон, начало пожирать мою обитель из красного дерева. Я почувствовал какую-то тянущую маету, и хотя за полтора часа церемонии уже осознал, что никак не связан с телом, но странным образом — не болью, не тактильными ощущениями, а какой-то особой вибрацией — ощущал, что оно преобразовывается в нечто для меня непривычное и да, не очень приятное. Массивный гроб треснул и распался, а мое тело со стороны начало вести себя как живое, поднимаясь, извиваясь, корчась, изрыгая собственные же внутренности. Оно напрягалось как могло, кряхтело и тужилось из последних сил, будто желало выпрыгнуть из тесного ящика, но потом в секунду сдалось и осело, как молочная пенка в кастрюле, с которой сняли крышку, расслабилось и поддалось огню, смирившись со своей участью. Признаться, я так переживал за него в этот момент, что не заметил, как очутился в какой-то громадной огненной трубе, плотно набитой какими же бестелесными созданиями, как и я сам. Они не обращали на меня никакого внимания и не вызвали никакого раздражения. Любопытно, что меняя угол зрения, можно было увидеть их прежние земные облики, застывшие каждый в своем предсмертном возрасте и одежде. Мое размышление о том, как же видят со стороны меня, прервал резкий визгливый голос:

— Старшуля! Ты и здесь первый! Поди обними свою бабусю!

Я остолбенел. Настолько, насколько может столбенеть не имеющая плотности и формы субстанция. Ко мне по огненному коридору, распахивая всех

локтями, ковыляла старуха в рванье. Глаза ее светились безумием, рот был перекошен, она демонически смеялась и брызгала слюной.

— Отче наш, иже еси на небесех, — пролепетал я трусливо и подался назад.

Прорываясь сквозь запутанную, как клубок проводных наушников, память, я старался понять, из какого ее сплетения взялся этот жуткий, но знакомый образ. Санитарка в моей клинике? Нищая в подземном переходе под Тверской? Пациентка, которую я оперировал? Кто это?

— Поди обними Эпоху! Эпоха заждалась тебя, Старшуля! — Бабка приблизилась ко мне, щерясь и показывая расколотые зубы.

Эпоха! Бог ты мой! Сумасшедшая бабка Эпоха из нашего с Илюшкой детства. Почему она? Что за сюрприз, что за посмертный подарок, Господи? Театральному мэтру — обиженная абитуриентка, а мне — ...Ну и шуточки у тебя, Всевышний... Я попытался исчезнуть, но исчезать было некуда и нечему.

— Айда, Эпоха выведет тебя отсюда, — она протянула руку с узловатыми пальцами и слоистыми ногтями.

Я сморгнул, как будто при жизни рассматривал стереокартинки: пойманный в фокусе объемный корабль или динозавр вновь превращался в плоское изображение повторяющихся мелких деталей. Примерно так же образ старухи расплылся в прозрачное пятно, гораздо более плотное, чем другие обитатели коридора. Оно достигло моих границ, вытянуло амебную лапу и увлекло меня за собой.

Глава 2. Братья

Илюша выл на кухне, прикрывая опухшую губу грязными ладонями. Мама, Софья Михайловна, пыталась оторвать его руки, но он вопил еще громче, мотая головой и заливаясь слезами.

— Лети к автомату, вызывай скорую, что стоишь, Родион! — кричала она старшему сыну, пока младший наполнял дом звуками противопожарной сигнализации.

— Так, стоп, Соня, все замолчали, и немедленно! — В комнату ворвался отец с фонариком в руке. — Прекрати выть и открой рот! — скомандовал он Илюше.

Тот убрал руки и разверз кровавую дыру, в которой сложно было что-то разобрать даже под лучом фонаря.

— Поддай шприц и физраствор! — приказал Лев Леонидович жене, и она кинулась к фанерной аптечке, приколоченной к стене.

Пока отец намыливал руки, мама набирала прозрачную жидкость в огромный стеклянный шприц без иглы. Родион подошел поближе и с интересом заглянул в рот орущему брату. Папа оттолкнул его локтем, вставил два пальца Илюше за щеку, раздвинул их рогаткой и направленной струей стал смывать кровь сначала с нижней, а потом и с верхней десны. Постепенно картина начала проясняться. На фоне белого, как фаянс, верхнего ряда, прямо по центру зияла пробоина с острым осколком выбитого зуба. Отец осторожно потянул за него, Илюша застучал ногами по полу.

— В травматологию. На снимок. Нужно проверить, нет ли трещины в челюсти! — заключил папа.

В больницу они поехали вчетвером. Родиона не звали, но тот увязался, аргументируя тем, что будет подбадривать младшего брата. В трамвае он улучил момент и шепнул на ухо Илюше:

— Теперь тебе удобно будет плевать, как беззубым зэкам на стройке!

Илюша содрогнулся и с ненавистью пробубнил:

— П-первым, на кого я х-харкну, будешь ты, к-козлина.

В белом унылом коридоре травматологии они прождали около часа. Еще час Илюшу гоняли по кабинетам на рентген и обратно. Наконец к родителям вышел врач и сказал, что ребенка отправляют в лицевую хирургию. На верхнюю челюсть нужно ставить скобу и ждать, пока заживет, прежде чем протезировать зуб.

— Ну как ты не уберег брата, — укоряла Родиона мама, пока они тряслись в карете скорой помощи.

— У-уберег? — пробубнил Илюша с набитым ватными тампонами ртом. — Д-да это он п-подставил мне п-подножку на ступеньке п-подъезда.

— Смеешься? Ты просто бегать не умеешь! Говорил тебе, не лезь в игру со старшими. Не дорос еще, — усмехнулся Родион.

— Не ссорьтесь, мальчики. Вы — Гринвичи — одной крови и должны держаться друг за друга, — эти слова отец повторял каждый день, и братья содрогались от них, как командир тонущей подлодки от фразы «Все будет хорошо».

После двух месяцев больницы Илюшин рот еще долго походил на брошенный в лесу дзот с амбразурой, из которой ржавым пулеметным стволом торчала какая-то железка. Железку стоматологи периодически вращали, исправляя неправильное срастание челюсти. Илюша орал от боли, ему казалось, что этим адским рычагом раздвигают по швам череп вместе с его содержимым. Лев Леонидович возил его по разным врачам, дважды ездили даже в столицу к светилам, но они пожимали плечами. Плевая, казалось бы, потеря зуба с расщеплением челюсти давала неведомые медицине осложнения.

— Да у него вечно так, — ухмылялся Родион в компании друзей, — занозит пальчик на ноге, и тут же гангрена до уха.

Пацаны смеялись, Илюшу трясло от обиды и ненависти. Он до преклонных лет жил с этой болью, постоянно меняя импланты — от топорных советских в детстве до американских титановых в зрелости, но все они не приживались, разрыхляя кость и причиняя невероятные страдания. Каждый раз, закрывая рот, он делал захватывающее движение верхней губой, подобно золотой рыбке в аквариуме. Нервный импульс, мгновенно отдающий в бровь, воскрешал одну и ту же картинку: девять лет, прятки, темный подъезд, он бежит со второго этажа ко входной двери, еле сдерживая в горле «стуки-стуки я», и прислонившийся к перилам брат неспешно, как заторможенный шлагбаум, поднимает ногу. Илюша цепляется коленом за Родькину кроссовку, пролетает над лестницей и приземля-

ется у выхода, тормозя подбородком о нижнюю перекладину дверной коробки. Как густая грязная вода из опрокинутого ведра уборщицы, нереально яркая алая жижа поглощает напольную плитку из коричнево-белых квадратиков, заливаясь в трещины и раскрашивая кривые стыки. Вой, смех, визг, занавес.

Родька был старше на два года. Красивее, крепче, весомее. С самого детства обладал мужской фигурой с тонкой талией, широченными плечами и упругим рельефом на руках и животе. Никаких складочек, сладкого жирочка, ямочек на щечках и прочей уютюшной милоты в нем никогда не было. У него как надо росли волосы — темно-русые, прямые, они идеально стриглись и образцово отрастали, брутально обрамляя Родькино лицо. Ровная кожа хорошо загорала, пальцы на ногах четко влезали в любую обувь без примерок и подгонок. Пальцы на руках ловко складывались в бойцовский кулак, который красиво летел врагу в рожу. Родькина пластика была безупречной, колени пружинили как надо, ноги скручивали спринтерскую шестидесятиметровку за десять секунд, на перекладине он висел как бог, подтягивался, перекручивался, качал пресс, не покрываясь потом и не краснея лицом. Илюша был отражением Родиона в самом гнусном из всех кривых зеркал. Белокожий, идущий пятнами на солнце, с предательскими светлыми кудрями до плеч, с ямочками везде, где только можно, — на подбородке, на щеках, на локоточках и даже на икрах, он бесконечно простужался, болел всеми детскими инфекциями, вечно полоскал воспали-

ное горло, исходил соплями на цветочную пыльцу весной, на клубнику летом, на кожуру картошки осенью и на мороз зимой. Турник для него был адом. Он висел на нем разлохмаченной веревкой, дергался, краснел, пучил глаза, но не мог приподнять свое худое тело ни на сантиметр. На беговой дорожке с тринадцатого метра ноги его начинали заплетаться, и он падал, обязательно зачерпывая нижней губой пригоршню пыли, отчего потом его рвало и одновременно прошибало бактериальным поносом. За воскресными семейными обедами при гостях мама всегда рассказывала одну и ту же историю: «Родька — тот родился богатырем, с темной шевелюрой, пять килограммов сорок пять грамм! Акушерка вынула его и ахнула: ну, этого сразу в детский сад можно пешком отправлять! А Илюшенька, господи, два кило четыреста! Худой, лысенький, без ресниц, ручки тоненькие тянет, даже плакать не может, такой был слабенький!» При этих словах оба брата закрывали уши руками и воздевали глаза к небу.

— Мам, ну хватит уже!

Старшего тошнило от младшего. Младшего тошнило от самого себя. Этот ритуал исполнялся десятилетиями и стал главным воспоминанием о семейных праздниках.

Абсолютно нелогичным образом братьям нравились одни и те же девочки. Еще более нелогичным образом каждое женское сердце разбивалось сразу о них обоих. Если Родион заводил подружку, она влюблялась в белокурого меланхоличного Илюшу, как только ее приводили в родительский дом. Ког-

да Илюша начинал «ходить» с одноклассницей, та теряла дар речи, увидев раз старшего брата-брутала. Первыми, кто попал в эту мышеловку, стали подружки-шестилетки Танечка и Юля из дома напротив. Одна из них призналась другой, что любит первоклассника Родика. Вторая вздохнула и сказала, мол, ладно, тоже люблю Родика, но согласна на пятилетнего Илюшу. Первая подумала и вцепилась подруге в волосы. Та не замешкалась и ухватила за нежные уши соперницы. Детская площадка за десять минут была устелена русыми волосиками, рваными ленточками и железными невидимками с божьими коровками и ромашками на концах. Танечка надкусила Юле переносицу. Юля зубами сорвала пряжку с Танечкиного ботинка. Обейх в крови и соплях матери приволокли к Гринвичам:

— Из-за ваших говнюков они чуть не покалечили друг друга! — визжали наперебой женщины, пытаясь пропихнуть девочек в квартиру.

Софья Гринвич, внимательно рассмотрев боевые травмы подружек, не без гордости вздохнула:

— То ли еще будет, мамыши, то ли еще будет...

Софья Михайловна оказалась права. Танечка еще пару раз за свою молодость пыталась отвоевать хотя бы одного из братьев. Из-за Илюши резала вены, от Родиона изобразила беременность. Юлю родители вовремя увезли из двора, поменяв квартиру с одной окраины города на другую. Правда, Юля успела оставить след в жизни обеих Гринвичей. В младших классах они после уроков толпились на пришкольной площадке в куче однокашников и вели задушев-

но-язвительные беседы. Был лютой декабрь, Родион, захватив коленями турник, в легком (как всегда) пальто висел вниз головой без шапки, вокруг него вились восторженные девчонки. Илюша в тяжелом бараньем тулупе не мог даже просто согнуть руки в локтях. А потому сидел на сугробе и беседовал с Юлей.

— Ну все же, кто тебе больше нравится: я или Танька? — напирала Юля.

— Т-ты, — покорно отвечал Илюша.

— Как-то неуверенно ты говоришь, — провоцировала она, — даже в глаза мне не смотришь.

— Д-да я п-просто голову не могу п-повернуть, п-пуговица не шее жмет, — отвечал Илюша.

— Ну а в Таньке ведь тоже что-то есть хорошее, да? — не унималась Юля.

— Д-да, — соглашался он.

— Что?

— У нее к-красивые к-колготки.

— Красивее моих???

— К-красивее.

Юля взвившейся коброй накинулась на Илюшу и вцепилась зубами ему в тулуп на уровне плеча. Он заорал, Родион, кинувшись на рев брата, соскользнул с обледеневшего турника головой вниз и с жутким хрустом упал на землю. Всю толпу снова привели домой, предварительно вызвав отца-Гринвича с работы. Родьке с открытым переломом руки тут же вызвали скорую, с Илюши стащили идиотский тулуп и сняли рубашку. Между плечом и локтем ровной кобылиной подковой в запекшейся крови красовался отпечаток Юлиных зубов. Родькин перелом

сросся неудачно, но зажил быстро, оставив лишь синюшный бугорок на поверхности руки. Илюшина сверхчувствительность и неспособность к регенерации запечатлела Юлин прикус на плече до самой его кончины.

Родион и здесь оказался героем. Он лежал в больнице в красивом гипсе, папа с Илюшей носили ему апельсины. В городе цитрусов не было и в помине, родственники переправляли их из Ленинграда в фанерных ящиках с сургучом. (О, смолянистый запах сургуча с апельсиновой коркой! У Илюши перекрывало трахею, а слезы въедались в морщины, когда этот аромат являлся ему во снах после смерти брата.) Мама варила компот из черной смородины и сухой, дико редкой ежевики. Илюша невыносимо страдал. Он опять был причиной хлопот всей семьи и объектом насмешек.

— Ну что, все Юлькины зубы вытащил из своего плеча? — подсмеивался Родион. — Думаю, если бы ты был в бронжилете, то и это бы тебе, неженке, не помогло.

— П-просто у нее м-мертвая хватка, видимо, в с-спецназе т-тренировалась, — не показывая обиды, отшучивался Илюша. — Д-дай попробовать апельсин!

Пока мама или папа беседовали с врачом в коридоре, они вдвоем неловко сдирали апельсиновую шкуру и, вцепившись зубами с двух сторон в несчастный цитрус, соревновались, кто быстрее догрызет до середины. Руками помогать было нельзя, и они, хрюкая, обливаясь соком, встречались липкими носами и хохотали до колик в животе.

— Ну а т-ты как бы от-ветил на Юлькин в-вопрос, чтобы она не ук-кусила? — вытирая лицо Родькиной больничной простыней, спросил Илюша.

— Я бы просто поцеловал ее, — ответил брат. — Даже если бы она мне не так уж и нравилась.

— И в-все?

— И все!!! Делов-то! Учись, пока я рядом!

Илюша после этого случая перецеловал всех девочек из школьной параллели и ближайших домов. Он сделал затяжной перерыв, только когда оказался без зуба, но как только ему вставили первый протез, тут же возобновил практику. Софью Михайловну чуть не уволили с работы — она была эндокринологом в поликлинике — за постоянные больничные листы по уходу за ребенком. После каждой девчонки, а Илюша быстро научился целоваться взапас, он непременно наследовал ангину, герпес, мононуклеоз, вирус папилломы и весь список того, что даже чисто теоретически можно подхватить через слюну.

— Если ты не натренируешь свой иммунитет, до старости будешь хлюпиком! — подзуживал Родион, который сам ни разу не кашлянул не только после поцелуев, но даже после бычков, которые подбирал и докуривал на улице.

Илюша сатанел от несправедливости. Перед братом жизнь радушно открывала все двери и сыпала лепестки на ковровую дорожку со словами «Чего изволите?» Перед его собственным носом двери с треском захлопывались, и за каждое мало-мальское удовольствие приходилось троекратно платить болью и страданиями. Жизнь вытравливала Илюшу

из своих пределов, смеялась над ним, доказывала, что не по Сеньке шапка, не по рылу каравай, не по Трифону кафтан и не по Хулио Мария. Но он принимал вызов с азартной злостью, сжимал зубы и продолжал делать все то, что с легкостью позволял себе брат.

Слава настигла его неожиданно. Из-за болезненной чувствительности он обнимал девочек мягко, тонко, надрывно, бархатный язык его касался губ деликатно, как бы спрашивая разрешения. С небольшим подсосом он ласкал девичьи неба и щечки изнутри так, будто гладил шиншиллу. Шелковистые, нереально нежные подушечки его пальцев дарили такие прикосновения, о которых в итоге заговорила вся школа. В седьмом классе его буквально за шиворот затащила в пустую раздевалку спортзала десятиклассница Тамарка, известная в округе шалава и нюхачка.

— Ну... ты, говорят, нежный, — перемалывая челюстями жвачку, сказала она.

— Н-не знаю, — Илюша научился уже не тупить взгляд.

— Так сейчас и узнаем. — Она села на лавку, сняла фартук, расстегнула пуговицы на коричневом платье и выставила наружу сочные яблочные груди с вишневыми сосками. — Нравится, котенок?

— К-красиво. — Кивнул он.

— Давай проверь на упругость.

Он подошел и подкрутил подушечками пальцев соски, будто тумблеры на магнитофоне. Она закатила глаза и застонала. Он полностью уместил ее буффы в ладони, поиграл, словно на клавишах рояля,

и заскользил руками к позвоночнику, едва касаясь персиковых волосков на ее коже. Тамарка открыла рот, вывалив на платье розовую жвачку. Илюша припал губами к ее шее и начал медленно подниматься к подбородку. Десятиклассница замычала, как подстреленная олениха. В раздевалку огромными кулачищами постучал физрук и пробубнил:

— Тамарка, открывай, шмара, у меня секция баскетбола начинается.

Илюша встал с колен и поправил опухшие штаны.

— Ты, котенок, «дури» не хочешь попробовать? — застегивая платье, спросила она.

Илюша просиял. Таким козырем против Родиона он еще не обладал никогда.

— Х-хочу.

— Ну жду тебя после школы на заднем дворе, — сказала она и, приблизив к себе его лицо, поцеловала в губы. — Я тебя многому научу.

— А б-брат мой можно п-придет?

— Ну пусть, — засмеялась Тамарка, — если ты его не стесняешься.

В конце уроков Илюша подошел к компании Родиона вразвалочку и встал, засунув руки в карманы брюк.

— Че надо? — спросил Родион, отрываясь от толпы.

— М-меня дома не жди, — процедил Илюша, — я с Т-тамаркой из десятого «Г» п-пойду «дурь» курить.

— Да ладно врать.

— С-спроси ее с-сам.

— Я с тобой.

— Только если с-свой велик мне отдашь.

— На неделю забирай.

— Н-навсегда!

Родион ковырнул носком ботинка землю.

— Ну ладно, — согласился он. — Если сам дойдешь домой после «дури» — он твой!

* * *

Тамаркина однокомнатная квартира была недалеко от школы. Отца у нее не было, мать сильно пила и часто не ночевала дома. Когда Родион с Илюшей позвонили в дверь, комната была уже в сладком дыму, а на диване сидели двое незнакомых парней и девчонка с тяжелым лицом и засаленными волосами.

— О, это мой будущий муж! — Тамарка подскочила к Илюше и поцеловала его в щеку.

— Родион, — представился брат и протянул Тамарке руку.

— Какой рослый, — удивилась она, вложив ему в огромную ладонь свои тонкие пальцы, — ты же только в девятом?

Родька, не разжимая кисти, притянул ее к себе, полюбнял и заглянул в глаза:

— Разве это важно?

— Ого! — прыснула Тамарка. — А может, ты — мой будущий муж?

Илюша недовольно уселся на диван. Родька был в своем репертуаре. Прыщавый парень протянул ему тонкую обслюнявленную сигарку. Илюша брезгливо сунул ее в рот и затянулся.

— Ща на «хи-хи» пробьет, — предупредила засаленная девчонка.

Брат подсел на диван, к нему на колени плюхнулась Тамарка. Они по очереди втягивали липкий дым дешевой марихуаны, хохотали и матерились. С третьей затяжки у Илюши закружилась голова. Он встал, чтобы пойти к туалету, но упал на пол и издал утробный звук. Компания заржала еще сильнее. Илюшу мучительно рвало прямо на плешивый ковер, он содрогался всем телом, пытался вытереть рот концом рубашки, но только размазывал рвотные массы по лицу.

— Что и требовалось доказать! — торжественно произнес Родион, стряхнул с себя Тамарку и медленно подошел к безжизненному, как засохшая плеть огурца, брату.

Невозмутимо взял Илюшу на руки, отнес в туалет и долго отмывал от блевотины, вытирая первым попавшимся полотенцем. Потом вернул в комнату и сгрузил на кресло в углу.

— Ну что, ковер сворачиваем и на помойку? — спросил он Тамарку.

Та ржала и кивала. Родион вместе с прыщавым парнем выбросили ковер и вернулись к следующему косячку. Илюша сквозь прикрытые ресницы, сдерживая подкатывающие к горлу комки, обреченно наблюдал, как компания поэтапно убывала. Сначала на полу заснула сальная девчонка, затем куда-то испарились оба парня, и в итоге на диване Родион с Тамаркой занялись каким-то яростным сексом, скрипя пружинами и хромыми деревянными ножками.

— Н-ну что же так грубо... — в Илюше шевелились остатки туманного мозга, — она же д-девочка, такая тонкая, такая в-вкусная. Мужлан т-ты, Родион...

В конце неизящного, на вкус младшего брата, процесса у десятиклассницы не было сил даже стонать. Родька крикнул, натянул штаны и отправился в ванную. Тамарка заплакала, завернулась в халат и села на пол рядом с креслом Илюши.

— Ну почему же ты такой маленький, слабенький? — причитала она, глядя Илюшины белые локоны. — Ты расти, крепчай, мужай. А я тебя дождусь. Хочешь? Брошу курить, займусь математикой, поступлю в кулинарное. Буду кормить тебя, родной, нежный... Самый нежный...

Она взяла Илюшину руку и прижалась к ней щекой.

— Буду любить тебя одного, хочешь?

— Х-хочу, — проблеял Илюша.

Подошедший Родион смотрел на эту пастораль, ехидно прищурился.

— Короче, Тамарка, садись за математику, а этого красавца мне еще домой переть на себе.

Он надел на Илюшу пиджак, взвалил на плечо, как мешок с соломой, и потащил прочь.

Велосипед Илюше не достался. Зато через мокрое Тамаркино полотенце, которым его заблеванный рот вытирал брат, или же заслюнявленный косяк он подхватил хламидиоз.

— В чем секрет, придурок? — рассуждал Родька, сидя у его постели. — Спал с Тамаркой я, а в венди-спансер ходить теперь тебе!

— В чем с-секрет, п-придурок? — глумливо парировал Илюша. — С-спал с Т-тамаркой ты, а в-влюбилась она в меня!

— Вот это единственное, что не умещается в голове, — напрягая подбородок, говорил Родион и не упускал случая отомстить младшему брату...

Глава 3. Курвиметр

Если бы не Родька, перед которым нужно было всегда выглядеть взрослым и сильным, Илюшина жизнь сложилась бы принципиально иначе. Он любил созерцать, любил придумывать свои миры, любил рассматривать вещи, осознавать их природу, рождение, предназначение. Он мог надолго застрять взглядом перед линией шва на папиной рубашке и думать о том, почему этот стежок на планке больше, чем все остальные. Наверное, швея услышала плохую новость и дернула тапком на ножной машинке, или сама машинка выработала ресурс и плохо проталкивала ткань, может, ее не смазывали из масленки, такой кругленькой с тонким носиком, какая лежала у папы на полке с инструментами. Погружаясь в эту бездну причинно-следственных связей, он неизменно приходил к мысли: «А почему я?» Почему я вижу этот мир и размышляю о нем, почему я чувствую прикосновение иголки, почему мне натирает ботинок? Почему это ощущаю я, а не папа, не мама, не Родька? И чувствуют ли они этот мир вообще? В эти минуты он отрывался от самого себя и парил где-то высоко над землей. А когда возвра-

щался, то крайне удивлялся, что вновь попал в собственное тело. Особенно будоражили Илюшино воображение разные измерительные приборы. Циферблат часов, весов, шкала штангенциркуля вызывали в нем непостижимый трепет. Самым любимым его местом был магазин-военторг недалеко от дома. Он ходил туда почти каждый день, чем вызывал улыбку и расположение худого старика-продавца. Илюша надолго залипал возле витрины со всякой оптикой и приборами. Он подробно спрашивал старика, в чем смысл каждого предмета, где тот применяется и насколько уникален. Особенно нравились ему истории деда о том, как в войну один его друг заблудился в лесу без компаса, другой нарвался на фашистов без бинокля, а третий не рассчитал расстояние по карте без курвиметра. Дед придумывал байки на ходу, но Илюшин мозг обналичивал фантазии в настолько осязаемую реальность, что слышал лязг танковых гусениц, стрекот пулеметов, вонь портянок и пороха.

— Ку-кур-ви-метр, — замороженно повторял Илюша и трогал пальцем гладкую поверхность круглого приборчика на колесике с зеленой фосфорной стрелочкой и множеством кругов делений и циферок, которые, как матрешка, тонули один в другом. Корпус курвиметра был деревянным, с природными прожилками, отполированный и покрытый лаком. Бронзовая ручка с резьбой приятно шершавила пальцы, желтое колесико шустро бегало по старой военной карте, которую старик расстилал на витрине и подолгу вместе с белокурым подростком изме-

рял на ней реки и дороги, рассчитывал, умножал, переводил в километры.

— Подарочный экземпляр, — говорил старик, — для генералов. В единственном числе. Только в мой магазин завезли.

Курвиметр стоил 3 рубля 14 копеек. Илюша твердо решил, что должен им обладать. Кисель и калорийная булочка с повидлом в школьном буфете стоили 9 копеек. Мама каждый день давала десять. Илюша выпивал кисель за четыре и шесть оставлял себе. За три месяца и без того худой восьмиклассник превратился в скелет. Плотные мамины ужины не спасали. В школе он шатался от голода и ничего не соображал. Однажды на хоре, стоя в самом дальнем ряду на высокой лавке, он потерял сознание и рухнул на пол. Девочки обмахивали его фартуками и обтирали лицо мокрыми тряпками для доски, нарезанными из вафельного полотенца.

Но мешочек для желтой мелочи постепенно наполнялся, и Илюша менял ее у того же старика сначала на белянькие двадцатки, а потом — на бумажные рубли. Дед переживал за парня: в то время как в магазин заходили посетители, незаметно убирал курвиметр с витрины, чтобы никто не позарился. Наконец, когда Илюшины кости начали без рентгена просвечивать сквозь рубашку, старик обменял мелочь на зеленый хрустящий трояк. Илья скрутил его в трубочку и затолкал за тяжелую раму репродукции Айвазовского, висевшей в родительской спальне. Цель была настолько осязаема и достижима, что Илюша, прежде чем накопить оставшиеся

14 копеек, пару дней позволил себе побаловаться в буфете булочками. Родион знал о мечте брата и тихонько над ним посмеивался:

— Когда ты превратишься в мумию, я измерю этим курвиметром все твои впуклости, — говорил он, толкая Илюшу в костистое плечо.

В это время погостить к Гринвичам приехала троюродная тетка из Ленинграда (та самая, что присылала апельсины). Взбалмошная, бесцеремонная, она раскатисто хохотала, сыпала прибаутками и, заходя в квартиру, швыряла свою сумку в коридор, как будто пыталась сбить мячом далекие свинцовые кегли. Илюшу она утомляла. Он любил тишину и уединение. Но дома ежевечерне были громкие обеды с обязательным упоминанием того, что Родион родился богатырем, а Илюша — хлюпиком на два кило четыреста. Как-то вечером тетка вернулась зареванная — сообщила, что потеряла три рубля и теперь ей не на что купить билет обратно до Ленинграда. Родители суетились, причитали, квартиру обыскали, тетка настаивала, что деньги пропали именно дома. Когда нервы были на пределе, Родион с видом экскурсовода провел всех в родительскую комнату и жестом фокусника достал из-под рамы Айвазовского свернутый в тугую трубочку трояк. Илюша стал пергаментным, все усталились на него и замолчали.

— Эт-то я н-накопил... На ку-урвиметр... т-три месяца...

Его никто не слушал. Родион был признан героем, Илюша — вором, деньги передали тетке...

* * *

Он зашел в военторг спустя год, после пневмонии и затяжной депрессии, которую пытались вылечить все психиатры города. Старик ахнул:

— Что с тобой, сынок? Я так тебя ждал...

— М-мои деньги ук-крали, я не мог за-заплатить, — вяло произнес Илюша.

— Ну, не стоило так, не стоило... — зачастил дед, — да и купили его вскоре, не смог спрятать, не смог. Из Центрвоенторга, видимо, сюда покупателя направили. Пришел, сказал: «Мне курвиметр. Деревянный. Генеральский...» Продал, куда деваться...

Илюша осмотрел витрину. Компасы, градусники, рации, бинокли не вызвали в нем никаких чувств. Старик зашелестел военными картами.

— Не н-надо, — сказал Илюша. — Я н-наигрался.

Депрессия длилась долго. От назначенных таблеток тошнило и клонило в сон. В школе над ним смеялись. Тамарка не дождалась его взросления. Она подтянула математику, поступила в кулинарный техникум и через семестр умерла от передозы — прыщавый подсадил на героин. Хоронили ее всей школой. Подростки как неоперившиеся воробы озирались и виновато волочились за учителями. Был поздний апрель, от внезапного тепла резко набухли почки, растопырились лепестки календулы, хлынул березовый сок. Смерть была неуместна, неприлична, бесстыжа, непостижима. В дешевом сновом гробу на марле в несколько слоев лежала красивая Тамарка, чуть бледнее обычного, с тем-

ными ободками вокруг закрытых глаз. Илюша внезапно осознал, с кого Врубель писал свою Царевну-Лебедь. После того как гроб затолкали в грязный катафалк, а директор школы произнесла речь о вреде наркотиков и распутного образа жизни, Илюша поехал в комиссионку в центре города, где давно среди старинной мебели висела копия Врубеля. Он попросил опрятную бабулю-продавца подойти к картине поближе. Она разрешила. Тамарка смотрела на него сквозь несколько слоев пыли своими огромными, мученическими глазами с героиновыми синяками. В той же многослойной марле и замысловатом кошнике с камнями.

— Знаете ли вы, кто был ее прототипом, молодой человек? — спросила опрятная бабуля. — Жена художника, оперная певица.

— Е-эрунда, — ответил Илюша, — это Т-тамарка. Она иногда п-приходит в этот мир. С-сколько с-стоит к-картина?

— Пять рублей, — бабуля опешила.

Богopodobный худой подросток с бездонным взглядом и шелковыми кудрями до плеч выглядел пророком.

— Ну для вас — четыре пятьдесят, — добавила она.

Илюша по-жабьи захватил верхней губой вечно ноющий керамический зуб, дернулся глазом и по-тусторонне улыбнулся. Депрессию сняло как рукой. У него была новая мечта. Он хотел до конца дней быть с Тамаркой рядом, вытирать пальцами пыль с ее лица, купаться в настрадавшихся глазах. И ни слова Родиону, ни одного намека.

Глава 4. Шалушик

— Скоооль-коо стоо-иит каар-тии-наа, — нараспев говорила логопед, положив ладонь на Илюшину руку. — Мы на каждый слог как будто нажимаем пальчиком клавишу. Не торопись, пробуй. Словно поешь песню.

Илюша любил заниматься с логопедом. С этой крупной спокойной женщиной он чувствовал себя в безопасности. Будто на ржавую щеколду в мозгу капали чуточку масла, и она отпускала его речь в свободное плавание. В обычной жизни, прежде чем выйти наружу, его слова толпились возле этой идиотской заслонки, как стадо овец около выхода из загона. Впереди стоящую особь толкали в зад предыдущие, и она, бляя и спотыкаясь, прорывалась сквозь узкий проход.

Илюша начал заикаться в семь лет. После странного случая, о котором еще долго говорил весь район. В их доме, через два подъезда, на первом этаже жила сумасшедшая бабка лет шестидесяти. Сухая, кургузая с узловатыми руками, она редко появлялась на улице, но когда выходила во двор, сразу направлялась в толпу детей, пытаясь завязать с ними беседу. Старуха порой страдала иноходью и передвигалась нелепо: левой ногой-рукой — затем правой ногой-рукой. При этом отключивала вставную нижнюю челюсть в такт своей марионеточной походке. Неорганичность бабки вызывала у людей страх и отторжение. В основном она тихо бормотала себе под нос, но периодами издавала глоткой громкие железные звуки. Каждого дворового ребенка

она называла своей кличкой. Танечка была «Куклей», Родион — «Старшудей», Илюша — «Шалушиком». Сама же часто любила повторять фразы типа: «Эпоха должна быть мне благодарна!», «Я — гордость эпохи!», «В какую эпоху мы живем, товарищи!!!». Дети в результате прозвали ее Эпохой, она быстро к этому привыкла и начала говорить о себе в третьем лице: «Эпоха пойдет в магазин за кефиром», «Шалушик проводит Эпоху до дома».

Илюша часто жаловался маме, что Эпоха за ним следит. Мама трепала его светлые волосы, целовала в лоб и смеялась: «Нам еще паранойи не хватало. Больная женщина, надо ее пожалеть». Эпоха и вправду выделяла Шалушика из всех остальных детей. Наблюдала за ним, скаля желтые зубы, давала советы.

— Шалушик не лезет на велосипед, Шалушик расшибется. Пусть Старшудей расшибется.

Илюша вздрагивал и старался быстрее скрыться. Она все время пыталась до него дотронуться, поджидала у подъезда, и когда он выходил, начинала хохотать. Однажды принесла из хлебного магазина булку с изюмом и протянула ему:

— Шалушик любит Эпоху. Эпоха даст ему булочку.

Илюша долго не решался взять из сухих грязных пальцев булку. Пацаны, стоявшие рядом, глумливо смеялись. Кто-то стукнул Эпоху по руке, булка выскочила и упала на пыльный асфальт. Илюша кинулся поднимать. Его толкнули в спину, он упал и растянулся у ног чокнутой бабки. Она вмиг накрыла его своим телом, будто спасала от бомбардировщи-

ка. Он вырвался, сунул булку в рваную сетку Эпохи и дал деру. После этого она караулила его за каждым углом и шипела:

— Шалушик не взял булочку. Шалушика ждет угощенье.

Илюшу не пугали страшные сказки братьев Grimm и рассказы ровесников о кровавой руке и зеленых глазах на стене. В сравнении с Эпохой байки об упырях и ведьмах были цветочной пылью.

В тот вечер он не вернулся домой. Мама не дождалась Илюшу к ужину, и когда Родион пришел с футбола (он был нападающим в районной команде), отправила его искать младшего брата. К Родьке присоединились дворовые пацаны, затем отец и все его знакомые. Илюши не было нигде, никто его не видел. К полуночи заявили в милицию. Папа сел с участковым в «уазик» и объехал все районные дворы. Мама билась в истерике. Родион, подсвечивая себе фонариком, клеил на подъездах объявления о пропаже ребенка. Из ближайшего автомата обзвонили все больницы и морги. Наутро объявили в городской розыск. Папа передал в милицию черно-белую Илюшину фотографию с первого сентября: он, белокурый, покусанный комарами, стоял на школьной линейке и держал гладиолусы. Карточка размокла от маминых слез. Не выдержал даже Родька. Он закрылся в кладовке и уткнулся в старое пальто, пропахшее нафталином. Мир без Илюши внезапно опустел, потерял цвет и плотность. Казалось бы, Родион всегда ждал этого момента: чтобы брат исчез, испарился. Тогда бы вся мамина забота, все отцовские подарки, вся девчоночья любовь досталась бы

ему, Родьке. Факт рождения младшего брата, которого сразу же начали опекать, был для него невыносим. Мама кружилась над малышом как орлица. Все разговоры в семье были только о том, как вылечить Илюшу, как его накормить, дать ему лучший кусочек. Родиона замечали только тогда, когда нужно было сбегать Илье за лекарствами, за молоком, вызвать врача, передать на вечное ношение любимую олимпийку или кеды... Самое первое чувство несправедливости Родька испытал в два с половиной года. Выла метель, мама шла по улице, торопилась на прием к врачу, одной рукой держа замотанный в одеяло кулек с полугодовалым Илюшей, а другой волоча за собой упирающегося Родика. На перекрестке она поскользнулась, потеряла равновесие и, чтобы не упасть, отшвырнула от себя Родиона, еще крепче прижав к груди молочного Илью. Родик отлетел в сторону, рухнул на спину, ударился затылком об лед и заревел. Он не чувствовал боли. Он чувствовал, что мамина рука его оттолкнула. Он был неважен, недорог, нелюбим и навсегда вторичен. Сколько раз ему потом объясняли, что у мамы не было другого выхода, что если бы она упала, разбились бы все трое, что сработал инстинкт самосохранения, спасший жизнь и ему в том числе, — Родьку эти слова не трогали. В его сознание и тело вошел раскаленный императорский жезл: вы еще будете плакать от желания любить меня, но я вам этого не позволю. Мама пыталась заласкать, зацеловать Родиона, но он до конца жизни подставлял надутую щеку для ее поцелуя и, ухмыляясь, отводил глаза. Оттиск вины навсегда замер в глазах Софьи

Михайловны, и стереть его не могли ни лучшие психиатры города, ни иностранные таблетки, ими же прописанные.

...Родион не испытывал ранее такого отчаяния. Слезы его падали на поредевший нутриевый воротник, и рыжая иссохшая шерсть поглощала их, не в силах напиться. Он представлял брата, которого всегда хотелось пнуть, поддеть, развести на слезы, в руках маньяка, отрезающего пальцы, руки, уши. Ему, Илюше, реагирующему на укус комара как на сверло дрели, буравящее нежную плоть. Он видел Илюшино лицо блее извести и понимал, что младший брат уже не зовет на помощь. От болевого шока его голубые глаза сделались стеклянными, кровь цвета печени запеклась на безжизненных губах. Родион отдал бы все, чтобы вернуть Илюшу домой, за обеденный стол, чтобы видеть, как он закатывает зрачки при словах мамы «два кило четыреста!», чтобы любить и ненавидеть его в этот момент, потому что Илюша дико смешно воздевал очи к небу, открывая рот с подрастающими разнокалиберными зубами. Пальто с влажной нутрией упало на пол, освободив холодную раму оранжевой «Камы» — велосипеда, подаренного папой Родьке на девятилетие.

— Я отдам тебе «Каму», только будь живым! — закричал Родька в исступлении и истек слезами, как залитый соседями потолок.

К вечеру умненький участковый Виталя заканчивал опрашивать всех жильцов многоподъездного дома. В одном из них на первом этаже пожилой профессор пожаловался на ночной вой собаки за стеной, мешавший ему спать. Виталя знал всех со-

бак своего участка в лицо и по именам, а потому насторожился. Соседи справа от профессора были немолодой интеллигентной парой с котом. Соседка слева — та самая Эпоха, которая днями не выходила из квартиры и живности не имела. Виталя с утра пытался до нее достучаться (звонок не работал), но бабка не открывала. Вечером он приложил ухо к двери, обитой драным дерматином, и услышал слабый скулеж. Подумал, что Эпоха подобрала щенка и забыла покормить. Покинул подъезд, дошел до конца двора. Нехорошее чувство сидело у него в желудке и давало легкую тошноту. Вернулся. Попросил у соседей с котом пустую стеклянную банку, приставил ее к стене возле двери Эпохи и вновь припал ухом. Несколько минут было тихо, а затем подвывание щенка возобновилось. Послышались шаркающие шаги, нечленораздельная речь Эпохи, шум от слива унитаза.

— Мама, мааа-ма! — заголосил щенок.

Виталя подпрыгнул и чуть не разбил банку. Кинулся в участок, а когда вернулся в машине с двумя операми, в подъезде уже собрались жильцы дома и вся семья Гринвичей. Интеллигентная пара с котом — владельцы банки — сработала как советское информбюро: до каждой семьи в доме дошли сведения, что в квартире Эпохи милиционер Виталя что-то услышал.

— Ра-а-ступись! — скомандовал опер в бронежилете и с помощью фомки легко отжал нехитрый замок.

Дерматиновая дверь, старчески скрипя, распахнулась, из квартиры хлынул тошнотворный запах

несвежей еды и грязного туалета. Опера с Виталей ворвались в коридор, посреди которого, расставив руки и ноги, подобно Витрувианскому человеку да Винчи, застряла Эпоха.

— Не пуцу! — взвизгнула она. — Он — мой!

Опер с фомкой одним движением руки отодвинул Эпоху к стене, как японскую ширму, и освободил путь. Бабка успела вцепиться зубами ему в кулак, но он стряхнул ее словно пыль, невольно выбив ей нижнюю вставную челюсть. Все трое бросились к запертому снаружи санузелу, озверевший Виталя сорвал ржавый шпингалет. Дряхлая дверь, не выдержав напора, слетела с петель. Могучий опер ловко подхватил ее и припер к стене. На него сзади кидалась Эпоха и колотила ладонями по спине. В зияющем черном проеме — лампочка на потолке была разбита — на полу из треснувшей коричневой плитки, рядом с унитазом сидел восковой Илюша. Возле него в эмалированной миске лежал размоченный водой хлеб. От света, ударившего по глазам, он сжался в комок и закрыл голову руками.

— Шалушик любит Эпоху! — визжала сзади бабка. — Шалушик Эпоху не покинет!

Жаждающие зрелища соседи от туалета Эпохи до самого выхода из квартиры выстроили жирную колбасу. Виталя протянул Илюше руку, тот, опершись на нее, встал и сделал несколько шагов. Колбаса расфокусировалась, образовав узкий коридор. По нему, медленно ступая, словно по гимнастическому бревну, двинулся Илюша. Он был настолько прозрачным, что казалось, по скрипучим доскам движется субстанция его души, а тело, неплотно прилегаю-

щее, вот-вот сорвется и растворится в воздухе. На лестничной площадке в толпе, что не уместилась в квартире, стояли мама, папа и Родька. Илюша на выходе споткнулся о порог и полетел отцу прямо в руки. Он был без сознания. Опера подхватили Эпоху под мышки и поволокли к машине. Беззубая, хлопающая губами бабка перестала сопротивляться и ветошью повисла на милицейских бицепсах. Из ее глаз на кривую подъездную плитку капали крупные слезы. Даже не слезы — градины величиной с перепелиное яйцо. Они раскалывались о грязный пол, оставляя мокрые, протяжные следы...

Глава 5. Заика

Родион понял, что погорячился, когда рассматривал спящего под капельницей Илюшу на следующий день. Из его палаты только что ушли врачи, проводившие консилиум. Подтвердили, что на мальчике нет следов побоев и насилия. А его состояние — следствие психологического шока. Родька наклонился над лицом брата, оттопырил его левое ухо и заглянул за тыльную сторону. Затем он проделал то же самое справа. Не было никаких признаков того, что Илюше пытались их отрезать. Родион взял его руку и внимательно осмотрел все пальцы. Кроме искусанных в кровь ногтей, следов от ножа или бензопилы обнаружено не было. Другая кисть также провергла худшие Родькины прогнозы.

— Ну, «Каму» ты точно не заслужил, — произнес вслух Родион. — Да и вообще, остался в своем ре-

пертуаре — умирающей неженкой, над которой все порхают и ахают.

Илюша спал около двух суток. Когда он открыл глаза, увидел лицо мамы. Она выглядела так, будто была свидетелем пришествия Антихриста. Щеки обвисли, посерели, губы и брови запечатались в гримасе ужаса, волосы из темно-русых стали пепельными. Мама мученически улыбнулась и поцеловала Илюшу в лоб.

— Ласточка моя...

Илюша обвил ее шею руками. Он открыл рот, чтобы сказать, как ее любит, но на подходе к горлу образовалась вязкая пластилиновая масса. Он попытался протолкнуть сквозь нее слово, но оно застряло в этом месиве, как оса в банке густеющей краски. Илюша напряг голосовые связки, лицо его стало багровым. Мама испуганно начала гладить сына по волосам.

— Просто скажи «ма-ма», — прошептала она, — мааа-мааа.

— Ыыыыааааа...

Илюше показалось, что, подобно застывшей зубной пасте на кончике тюбика, слово вот-вот выдавится на язык.

— Ыыыыыааааа, — он покрылся каплями пота от усердия, но паста засохла, треснула и никуда не двигалась.

Софья Михайловна, размазывая по землистому лицу слезы, воздела глаза к больничному потолку:

— Только не это, Господи, только не это!

Илюша молчал около месяца. С ним работали логопеды, ему делали массаж, купали в серных и соляных ваннах. «Нужно изгнать из мальчика стресс, —

говорил Софье Михайловне врач-психолог, — пока он не расскажет, что с ним случилось, прогресса не будет».

Психолог дважды в неделю сажал Илюшу в кресло напротив себя и мягко задавал вопросы.

— Илюшенька, Эпоха держала тебя в туалете?

Илюша кивал.

— Она тебя кормила?

Илюша молчал.

— Она предлагала тебе еду?

Илюша кивал.

— Она издевалась над тобой?

Илюша молчал.

— Она тебя о чем-то просила?

Илюша кивал.

— Она дотрагивалась до тебя?

Илюша молчал.

— Она чего-то хотела?

Илюша сжимал зубы и краснел. Результата от сеансов не было.

После того как Эпоху затолкали в милицейскую машину, пошли слухи, что она больше не вернется домой. Медицинская экспертиза подтвердила ее крайнюю неадекватность, и бабушку отвезли в главную городскую психушку. По заверению участкового Витали, ее посадили на самые жесткие транквилизаторы и приковали к кровати. А значит, говорил он, бояться нечего. Квартира Эпохи была заколочена и опломбирована. Но Илюша еще долго опасался выходить на улицу один. В школу его сопровождали то мама, то папа. Учителя Илью не трогали, на уроках не вызывали к доске, лишь проверяли тетради и

автоматом ставили оценки в журнал. С занятий до дома он возвращался в компании старшего брата. Шли они обычно в гробовом молчании, Родька ни о чем Илюшу не спрашивал, а тот даже и не пытался вступить в контакт. Как-то дойдя до входной двери квартиры, оба отпрянули: на коврике перед порогом лежала булочка с изюмом. Такая же, какой пыталась угостить Илью Эпоха.

— Она вернулась, — шепнул Родион на ухо младшему брату.

Илюша заметался, умоляя взглядом Родьку быстрее открыть квартиру. Тот начал рыться в портфеле, вывернул его наизнанку и вывалил содержимое на грязный пол подъезда.

— Блин, ключи потерял. Наверное, в школе оставил. У тебя нет запасных?

Илюша отчаянно замотал головой и схватил брата за руку.

— Да не ссы. Я сейчас сгоняю и вернусь быстро. Подожди тут.

Он побежал вниз по лестнице и хлопнул тяжелой дверью на первом этаже. Илюша со злостью пнул булку ногой, сел на щетинистый коврик и закрыл голову руками.

— Шалушик! — слышался откуда-то сверху хриплый полусшепот. — Ша-лууу-шик, я за тобой пришла!

Илюша затряс головой и указательными пальцами попытался заткнуть уши.

— Я прииии-шлааа, я ряаааа-дом, я зде-ээь, — звук шагов с верхнего этажа становился громче и отчетливее.

Илюша вскочил и кинулся вниз по лестнице. Он долетел до двери подъезда и толкнул ее плечом. Дверь не открывалась. Шаркающие шаги сверху приближались. Илья натужился что есть силы, но замок был явно заперт снаружи.

— Ша-лууу-шик ни-ку-даа не у-бе-жиитт, Ша-луу-шик нав-сег-да со мной!

Илюша вцепился в ручку, покрылся бордовыми пятнами и липкими каплями пота, пластилиновое месиво заполнило его желудок, поднялось выше и стало рвать трахею, он начал задыхаться и терять сознание. Под железный стук и странный звон сверху на него выскочило несколько фигур в драных балахонах. Какая-то огненная волна торкнула его изнутри, пластилин расплавился, и, харкнув кипящей мокротой, Илюша конвульсивно заорал:

— Па-па-ма-гии-ите-еее!

Дверь распахнулась, и Илюша вывалился вместе с ней на руки Родиону. Тот подхватил его и, давясь хохотом, закричал:

— Ну вот! Значит, можешь говорить!

Внутри подъезда гоготали Родькины друзья. На них болтались старые мешки из-под картошки, длинными палками они елозили взад-вперед по железным балясинам перил. Илюша, трясясь от ненависти, вцепился Родиону в лицо и начал рвать его обкусанными ногтями. Сзади подлетели «ряженные», повалив Илью на пол. Заваруха продолжалась недолго — в подъезд выскочили соседи и расцепили школяров.

Вечером за ужином семья сидела в полном сборе. Расцарапанный от подбородка до ушей Родион возбужденно рассказывал, как все было.

— Да он из вредности молчал, гадина! Слышали бы вы, как он орал, когда испугался!

— Ты мог бы довести его до сердечного приступа! — горячился отец.

— Да я его вылечил! Пусть спасибо скажет!

— П-передай х-хлеб-ба, п-пожалуйста, — тихо обратился Илюша к маме.

Она обняла его и прижалась губами ко лбу, подняв светлые шелковые волосы.

— Ну да, расцелуйте своего Илюшеньку, — пробубнил Родион с набитым ртом, — меня-то никто не пожалеет, рожу зеленкой не намажет. И так все за-растет, Родька же — не человек, собака!

— Тише, мальчики, — резюмировал отец, — вы, Гринвичи, одной крови и должны держаться вместе.

Братья исподлобья метнули друг в друга раскаленные взгляды и, поджав губы в гримасе отвращения, разошлись по разным углам квартиры. Родион пошел в общую детскую — две параллельные кровати, две тумбочки, две импровизированные парты для занятий — и начал глобальную перестановку. С яростью сбросив все учебники на пол, он перевернул оба стола на ребро и разделил ими пространство комнаты надвое. Металлические ножки столов, торчащие в разные стороны как противотанковые ежи, превратили братскую обитель в место напряженной обороны. Илюша на это время закрылся в уборной. Сидя на унитазе, он рассматривал нехитрую тараканью ловушку: отец ставил банку с сахарной водой, обмазанную по краям подсолнечным маслом, и рыжие прусаки, влекомые к водопою, тонули, не в силах выбраться по скользкому стеклу. Илюша вы-

ловил горсть дохлых насекомых, вышел из туалета и направился к холодильнику. Мама с вечера готовила ему и Родьке морс в литровых банках: Илье — облепиховый, Родиону — клюквенный. В красную, ароматную жидкость он вытряхнул из ладони тараканов, закрыл крышкой и хорошенько взболтал. Тараканы равномерно перемешались с раздавленными ягодами клюквы и осели на дно. Выдохнув с облегчением, Илюша направился в комнату спать. Свет уже был выключен, и, споткнувшись о баррикады, он разбил себе лоб и вывихнул мизинец на ноге. Родион, укрывшийся с головой одеялом, противненько захихикал. Дождавшись, пока брат заснет, Илюша на цыпочках подошел к кухонной аптечке и на ощупь достал бутылек зеленки. Луна к этому времени взошла и нежно осветила комнату. Стянув с Родиона одеяло, Илья уперся взглядом в его лицо: рубленые черты даже во сне были невыносимо дерзкими и отвратительно привлекательными. Илюша всегда мечтал о таком квадратном подбородке и разлете черных бровей. О таких фигурно очерченных губах и прямом носе. О таких резких скулах и темных гладких волосах. На Родькину морду стоило надеть шлем в школьном спектакле, и он становился русским богатырем, пилотку со звездой — и он преображался в героического солдата, фуражку с кокардой — и он был вылитым офицером. Илюша же во всех этих головных уборах выглядел полным кретином, а к утреннику на 23 Февраля его вообще поставили в массовку к девочкам, повязали на голову платок и заставили махать вслед уходящим на фронт ребятам. Воспоминания об этом вызывали дрожь. Илья глубоко-

ко вздохнул, открыл пузырек и тоненькой струйкой стал лить зеленку на лоб и щеки брата. Опустошив тару, он стряхнул несколько последних капель ему на шею и с чувством удовлетворения лег в постель.

Наутро Родион орал на всю квартиру, умолял родителей разрешить не идти в школу, но по математике планировалась контрольная и пропустить ее было невозможно. Когда Лев Леонидович с укоризной посмотрел на Илюшу, тот невозмутимо ответил:

— Ну, Р-родька п-просил н-намазать ему р-рожу з-зеленкой, я и п-помог.

Расплата была жестокой. С подачи Родиона во дворе и школе Илюшу стали звать Любимчиком Эпохи. Его пугали, зажимали по углам, высмеивали.

— Ну что она с тобой делала? Яичками играла? За писюн трогала? И ты аж дар речи потерял? — ржали ему в лицо мальчишки, заставляя Илюшу каменеть от злости.

— С-сдохните, уроды! Н-ничего н-не делала!

Дразнили его вплоть до шестого класса, пока в Эпохину квартиру не заселились новые жильцы, отмыли окна, поставили железную дверь, завели сенбернара, и память о полоумной бабке начала стираться, как запись мелом на школьной доске.

Глава 6. Кладбище

— Располагайся, ты — дома! — заинтриговала Эпоха, втокнув меня в какое-то неприятное пространство, где я почувствовал себя смятой пушилкой в плотно набитой подушке. Таких пушинок-

перьев там была тьма-тьмущая, и все они совершали броуновское движение, насколько я помнил его из учебника физики за 10-й класс. Сама Эпоха исчезла, я заволновался и начал судорожно ее искать.

— Аааа, испугался! — наконец услышал я бабкин голос. — Да расслабься. Просто поймай волну, переведи всех в плоскость видимого, а потом отсей ненужных.

— Ничего не понял, каких ненужных, где мы?

— На Пятницком кладбище, возле Рижской, тебя тут захоронят.

— Это в Москве? — Я тупил.

— Нет, в Сиднее, — съязвила Эпоха. — В Москве, конечно, ты где подох-то, в Австралии, што ль? Вот в могилу к Сане Пятибратову тебя и запихнут. Сань, иди сюда, я вас познакомлю.

— Стой, Эпоха, — занервничал я, — какой Саня, что за бред! Объясни, умоляю!

Я вдруг осознал, как она чувствовала себя при жизни в городе нашего детства. Понял на своей шкуре, как это — не вписываться в общее хаотичное движение живых существ, которые придумали себе какую-то закономерность, правила, следуют им, понимают друг друга, а тебя, как щепку в эпицентре смерча, болтает по спирали и долбит головой обо все стены. Я прямо ощутил себя иным, дебилом, дураком, утырком. По сравнению со мной на данный момент Эпоха была воплощением самой логики, сознания и мирового порядка.

— Не паникуй, Старшуля. Рассредоточься на атомы, расплывись, включи воображаемый тюнер и